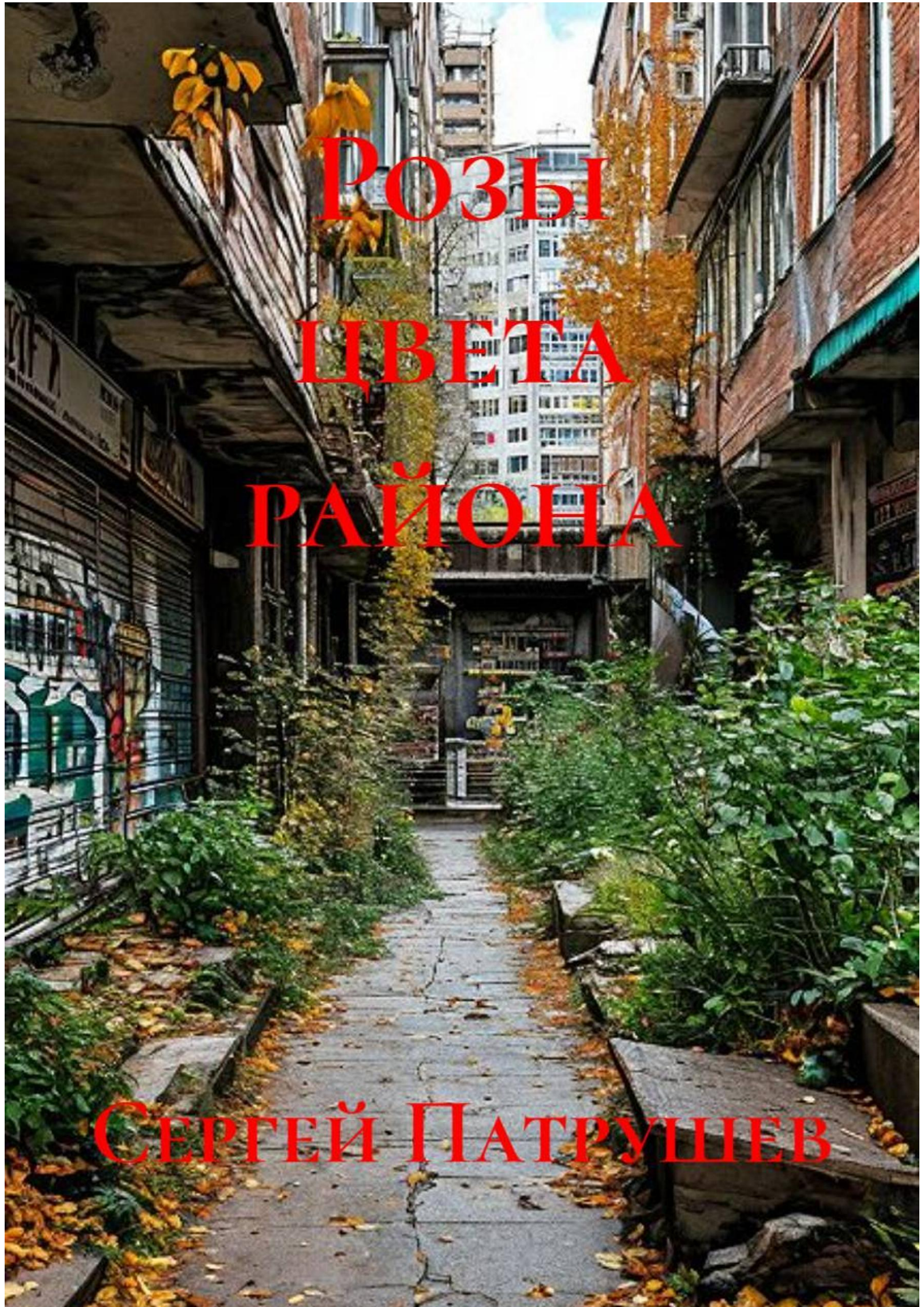




РОЗЫ ЦВЕТА РАЙОНА

СЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ

Сергей Патрушев
Розы цвета района

«Автор»

2026

Патрушев С.

Розы цвета района / С. Патрушев — «Автор», 2026

"Розы цвета района" Екатеринбург. Дворы, подъезды, подземные переходы. Место, где рифмы передавались как пароль а школьные легенды становились местными богами. Четыре главы - четыре акта дворовой одиссеи. От первых текстов на тетрадных листах до эха, которое до сих пор звучит в арках старых хрущёвок. Пыль на кроссовках о том, как всё начиналось: магнитофон в рюкзаке, лавка как первая сцена, уважение к району как первый закон. «Подземка гремит» - золотая эра андеграунда, когда имена не гуглились, но знал их каждый, кто был в теме. "Розы цвета района" - центральная глава-посвящение: любовь к месту, которое сделало нас, красота в серых панельках, музыки, носившие розы в волосах. Эхо в арках - финал, полный тишины после бита, но тишина эта обманчива: настоящий рэп не умирает, он ждёт нового голоса.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Пыль на кроссовках	5
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Розы цвета района

Глава 1. Пыль на кроссовках

«Мы выросли там, где асфальт рифмуется с небом» Район просыпался рано — не от будильников, а от грохота первых трамваев, которые, скрежеща, выворачивали из-за угла гастронома. Этот звук ни с чем нельзя было спутать: металлический лязг, переходящий в пронзительный визг колёс, трущихся о рельсы, а потом глухой, утробный стук, когда вагон проходил стык. Каждое утро этот железный зверь возвещал о начале нового дня, и каждый раз я вздрагивал, даже если ждал его. Солнце ещё толком не встало, только подсветило край девятиэтажки розоватым, нежным таким светом, похожим на разбавленное водой варенье, а жизнь уже кипела вовсю. Дворники — тётки в синих халатах поверх пальто — махали мётлами, сгребая в кучи вчерашние окурки, обрывки газет, шелуху от семечек и пожухлые листья, неизвестно как сохранившиеся до середины лета. Их мётлы шуршали по асфальту в каком-то своём, особенном ритме: раз-два-три — взмах, раз-два-три — взмах. Если долго слушать, начинало казаться, что это тоже музыка, только очень старая, уставшая, как и сами дворничихи. Где-то на восьмом этаже орало радио «Маяк», передавали утреннюю гимнастику под фортепиано, и бодрый голос диктора разносился по всему двору, отражаясь от стен. На балконе третьего этажа тётя Зина, женщина монументальной комплекции с бигуди в жидких волосах, не стесняясь в выражениях, отчитывала рыжего кота, который в очередной раз скинул её герань. «Паразит усатый! — гремела она на весь двор. — Я тебя, скотину, изведу, честное слово!» Кот, впрочем, не обращал на неё никакого внимания, сидел на перилах и с философским спокойствием вылизывал лапу, словно размышляя о том, какой горшок опрокинуть следующим. Я любил это время. Любил той особенной, щемящей любовью, которая приходит только с годами, когда начинаешь понимать, что все эти мелочи, звуки, запахи навсегда впечатываются в память, как следы подошв в ещё не просохший после дождя бетон. Время, когда ещё можно было успеть выскользнуть из подъезда незамеченным, пока мать думает, что я всё ещё в ванной, зажать в кулаке пару монет на завтрак — пирожок с повидлом и стакан яблочного сока без мякоти, — прихватить рюкзак, в котором учебники мирно соседствовали с потрёпанным кассетным плеером, и нырнуть в этот гулкий, шершавый мир, пахнувший бензином, мокрой пылью и чем-то сладким, ванильным, доносящимся из кондитерской на углу.

Дом наш — панельная девятиэтажка, серая, как и все её сёстры, разбросанные по карте города, с облупившейся краской на лоджиях и вечно перекошенными почтовыми ящиками — стоял в самом сердце всего этого муравейника. Четыре подъезда, сто сорок четыре квартиры, и в каждой — своя история, своя маленькая вселенная, отделённая от соседней тонкой стеной, через которую по вечерам доносились то крики, то смех, то звук передвигаемой мебели. Кто-то жил здесь от рождения и до смерти, кто-то приезжал на пару лет, чтобы сорваться дальше, в поисках лучшей доли, но дом оставался, впитывал в себя судьбы жильцов, как старый, выдавший виды корабль впитывает морскую воду. Но самая главная история начиналась не в квартире, а в подъезде. Точнее, в проходе между первым этажом и подвалом, где лестница делала крутой поворот и где редко кто ходил, потому что идти туда было, в общем-то, незачем. Разве что к электрическому щитку, который вечно искрил и пах горелой проводкой, или к запертой двери в бомбоубежище, про которое ходили самые невероятные слухи: якобы там, внизу, есть целый подземный город, построенный на случай войны, с туннелями, уходящими под землю на многие километры. Мы, конечно, в это не верили, но проверять не решались. Итак, в этом проходе, под тусклой, вечно мигающей лампочкой, отбрасывающей на бетонные

стены нервные, дёргающиеся тени, на холодном бетонном полу, мы собирались почти каждый вечер. Не потому, что больше нигде было. Места были, и много: пустырь за гаражами, где росли дикие яблони, старая трансформаторная будка, качели в соседнем дворе. Но именно здесь, в этом бетонном мешке, была особенная акустика. Эхо здесь гуляло такое, что любой хлопок в ладоши превращался в барабанную дробь, а любое слово, брошенное вполголоса, возвращалось обратно, многократно усиленное, раскатистое, как гром. Казалось, сам бетон вслушивается в нас, запоминает каждую вибрацию, каждый звук, чтобы потом, через много лет, когда мы все разъедемся кто куда, вернуть их обратно случайному прохожему, который спустится сюда зачем-то и на мгновение застынет, услышав отголоски наших давно умолкших голосов.

Мы тогда ещё не знали таких слов, как «реверберация» или «акустика помещения». Для нас это было просто «эхо как в колодце». И это сравнение не было случайным. Когда я был совсем маленьким, отец брал меня с собой в деревню к деду, и там, на заднем дворе, был старый колодец — чёрная дыра в земле, прикрытая деревянной крышкой. Я любил открывать её и кричать в темноту, и колодец отвечал мне моим же голосом, только искажённым, таинственным, словно там, в глубине, сидел кто-то ещё и передразнивал меня. Наш подвал был тем же колодцем, только перевёрнутым: мы сидели на дне, а небо где-то далеко наверху, за бетонными перекрытиями, было его невидимой крышкой. Именно это эхо стало моим первым учителем ритма. Когда старшие пацаны — Димон по кличке Ди-Бит и его друг Лёха Кирпич — усаживались на корточки, прислонившись спинами к холодной стене, исписанной баллончиками, и начинали читать, их голоса оживали, обретали плоть и вес. Стена была вся в автографах, матерных лозунгах и признаниях в любви, выведенных маркером, а кое-где даже выцарапанных гвоздём. Там были нарисованы короны, кресты, какие-то абстрактные символы, значение которых понимали только те, кто их оставил. Этот фон, эта грубая, самодельная летопись нашего двора придавала происходящему какую-то первобытную серьёзность, словно мы присутствовали при ритуале, который нельзя никому показывать, который должен остаться в этих стенах, под этой мигающей лампочкой. Ди-Бит не просто читал рэп — он чеканил слова, словно вколачивал их пяткой в асфальт. Его правая нога в стоптанном кроссовке «Адидас» отбивала ритм по полу, и казалось, что всё здание начинает вибрировать в такт его речитативу. Пыль поднималась с пола лёгким облачком и танцевала в тусклом электрическом свете, а мы, пацаны помладше, заворожённо следили за этим танцем, боясь шелохнуться, боясь спугнуть это странное, почти религиозное ощущение сопричастности чему-то большему, чем просто посиделки в подвале.

В тот год мне только-только стукнуло двенадцать. Двенадцать лет — странный возраст, когда ты уже не ребёнок, но ещё и не взрослый, когда тело начинает жить своей собственной, непонятной жизнью, а мысли вдруг становятся острыми, колючими, как осколки стекла. Худой, нескладный, с вечно разбитыми коленками — следы футбольных баталий на асфальтовом поле, с локтями, торчащими в стороны, и кадыком, который вдруг начал предательски выпирать, выдавая мой переходный возраст, — и плеером «Весна» в кармане олимпийки, я больше всего на свете боялся опозориться перед старшаками. Авторитет на районе — штука зыбкая, непредсказуемая, как погода в апреле. Сегодня ты в порядке, с тобой здороваются за руку, тебя зовут играть в футбол, а завтра тебя опустили из-за какой-нибудь ерунды. Не так посмотрел, не так ответил, не с теми пошёл, не то надел — всё, ты уже крайний, и придётся доказывать свою состоятельность заново, а это всегда больно и почти всегда унижительно. Я знал пацанов, которые после такого ломались, уходили в себя, переставали выходить во двор, и их забывали, как забывают выпавший молочный зуб. Учился я так себе: физику ненавидел, потому что не понимал, как все эти формулы и законы могут пригодиться мне в жизни, где главный закон — сила, верность и умение вовремя промолчать. Математику терпел, потому

что она давалась мне легко, но без всякого удовольствия. Литературу любил, но виду не подавал. Признаться в любви к стихам в нашей среде было равносильно добровольному спуску по социальной лестнице на самое дно. За такое могли и побить — не сильно, просто для профилактики, чтобы знал своё место. И я знал его — место тихого середнячка, который не лезет вперёд, но и в хвосте не плетётся. Но парадокс заключался в том, что рэп — это и были стихи. Только не те, что мы зубрили на уроках литературы, завывая монотонно: «Белеет парус одинокий...» — и думая о том, что Лермонтов, конечно, великий поэт, но про наш район он ничего не знал. Нет, это были другие стихи. Злые, колючие, как битое стекло, которым были усыпаны углы гаражей, или горькие, как запах полыни с пустыря, или хвастливые, как новенькие кроссовки, в которых ты готов перепрыгнуть через луну. Слова в них цеплялись друг за друга, рифмовались не «палка-галка», а как-то хитро, через строку, через смысл, иногда через паузу, которую нужно было выдержать так, чтобы все затаили дыхание. И это завораживало, как завораживает фокусник, достающий монету из уха.

Первые тексты мне показал Кирпич. Лёха получил своё погоняло не за суровый нрав, а за квадратную челюсть и любовь таскать с найденной неподалёку стройки обломки кирпичей, из которых он строил в подвале какие-то непонятные конструкции, напоминавшие то ли пирамиды майя, то ли могильные курганы. Странное было у него хобби, и многие считали его слегка чокнутым, но побаивались, потому что у Кирпича был тяжёлый взгляд и репутация человека, который не лезет в драку, но если уж влезет, то выходит из неё победителем. Он соорудит пирамиду из пяти камней, посидит перед ней, как перед алтарём, что-то шепча себе под нос, а потом одним ударом ноги разнесёт в пыль. Он говорил, что это помогает ему думать. «Мысль, — объяснял он мне однажды, — она как кирпич. Тяжёлая. Её нужно сначала сложить, чтобы стояла, а потом разрушить, чтобы новую построить». Тогда я не понял этой философии, но запомнил её навсегда. Говорил Кирпич вообще мало, больше молчал и щурился, словно постоянно что-то высматривал вдаль, за гранью видимого, за серыми стенами домов, за чадящими трубами котельной, где-то там, где, по его собственным словам, «начинается настоящая жизнь». Кирпич был на год старше Ди-Бита, но всегда оставался на вторых ролях. Он не умел так заряжать толпу, как Ди-Бит, у него был тихий, слегка гнусавый голос, но тексты... Тексты он писал такие, что даже взрослые мужики, кутившие на скамейке у подъезда, в своих засаленных кепках и трениках с пузырями на коленях, иногда замолкали, прислушиваясь, и сигареты замирали в их пальцах. Кирпич писал обо всём, что видел: о ржавых качелях, скрип которых напоминал плач, о матери, которая тянет на себе две работы и приходит домой затемно, падая без сил, о милийском «бобике», который регулярно навевался в соседний двор за алкашами, и о том, как те, кого забирали, через неделю возвращались обратно, ещё более потерянные и жалкие. Он вынимал слова прямо из-под ног, счищал с них грязь, как счищают налипший снег с подошвы, и вставлял в рифму. Именно Кирпич подарил мне первую в моей жизни тетрадь в клетку. Не на день рождения и не за какие-то заслуги, а просто так, видя, как я, словно загипнотизированный, слежу за его руками, когда он черкает что-то огрызком карандаша на мятом клочке бумаги. Он сунул мне её молча, не глядя в глаза, словно стесняясь собственной щедрости, и тут же ушёл в глубь подвала, оставив меня стоять на лестнице с этим неожиданным сокровищем в руках. Я потом много раз думал: почему он это сделал? Что он во мне разглядел? Может быть, ту же искру, что когда-то горела в нём самом? Или просто почувствовал, что я не буду над ним смеяться, не предам его доверия? Не знаю. Но это был один из тех моментов, которые делят жизнь на «до» и «после».

Тетрадь была самой обыкновенной, зелёной, двенадцать листов, пять копеек цена в любом канцелярском магазине. Обложка глянцевая, чуть шероховатая на ощупь, с белыми линиями, образующими клетку, уходящую в бесконечность. Но для меня она стала драгоцен-

нее любого плеера или кроссовок. Она была моим порталом, моим личным билетом в мир, о существовании которого я до того момента только догадывался. На обложке было напечатано: «Тетрадь для работ по математике». Я аккуратно зачеркнул «математике» и вывел сверху, стараясь, чтобы буквы не плясали, не прыгали, как пьяные муравьи: «Для текстов». Потом, испугавшись, что это выглядит глупо, что кто-то найдёт тетрадь и поднимет меня на смех, заштриховал надпись шариковой ручкой так, что получилась дыра. Но это не имело значения. Главное было внутри. Чистые, нетронутые клетчатые листы, которые пахли типографской краской, клеем и чем-то древесным, вызывавшим в памяти образ огромного леса, где деревья уходят кронами в самое небо. Я решил, что первый текст будет особым. Самым крутым на районе. Таким, чтобы даже Ди-Бит, который никогда никого не хвалил, для которого любая похвала была сродни проявлению слабости, подошёл бы и сказал: «Ну ты даёшь, пацан». Я представлял себе эту сцену снова и снова, прокручивал её в голове, как заезженную кассету: вот я заканчиваю читать, в подвале повисает тишина, а потом Ди-Бит медленно поднимается со своего места, отряхивает с коленей пыль, подходит ко мне и говорит эти заветные слова. От этих мыслей у меня даже ладони потели.

Наивный, я потратил целый вечер на поиски рифмы к слову «район». За окном темнело, фонари зажигались жёлтыми, мутными пятнами, вокруг которых вились облака мошкары, мать на кухне гремела посудой, напевая что-то себе под нос — у неё был красивый голос, низкий, грудной, но она никогда не пела при людях, только когда думала, что никто не слышит, — а я сидел, склонившись над тетрадкой, и кусал колпачок ручки, уже наполовину изгрызенный. В голову лезла всякая чепуха. «Район — батон», «район — вагон», «район — бетон». Бетон. Это слово что-то отозвалось внутри, что-то сдвинулось, как будто попав в нужный паз. Бетонные стены, бетонные заборы, бетонная коробка нашего подвала. Я вывел первую строчку: «Мой район — серый бетон». Дальше рифма не шла. Что может рифмоваться с бетоном? Кулон? Глупость. Дракон? По-детски. Самогон? Ближе к жизни, но не то. Я перечеркнул линию и начал заново. «Я вырос там, где асфальт — как небо». Глупость. Небо голубое, а асфальт чёрный. Но что-то в этом сравнении зацепило. Оно было неправильное, ломкое, алогичное, но в этой алогичности пряталась какая-то странная, почти мистическая правда. Ведь наш асфальт после дождя и правда отражал небо, становился похожим на перевёрнутый мир, где машины едут вниз головой, а птицы плавают под колёсами, как рыбы. И если долго смотреть в лужу на асфальте, можно было представить, что ты стоишь на краю пропасти, что там, внизу, ещё одно небо, ещё одна жизнь. На следующий день в школе я украдкой, пряча тетрадь под учебником природоведения, продолжал сочинять. Буквы прыгали, строчки плыли, ритм ломался, но я упорно вёл свою линию, как слепой, нащупывающий дорогу палкой. Учительница, Марья Ивановна, сухая женщина с пучком на затылке и вечно поджатыми губами, вызвала меня к доске, но я даже не слышал, о чём она спрашивает. В ушах стучал свой собственный ритм, и этот ритм был важнее всех таблиц умножения и законов Ньютона вместе взятых.

Вечером, когда пацаны собрались в подвале — в тот день нас было человек восемь, не больше, но для нашего подвала это была целая толпа, — я набрался смелости. Сердце колотилось где-то в горле, ладони вспотели, а к горлу подкатывал противный, липкий комок. Димон как раз закончил свою коронную «Сказку про спальный микрорайон» — историю о том, как весь двор поднялся против одного гада-стукача, который на всех наушничал участковому, и как в итоге ему переломали ноги и выкинули из окна второго этажа (в жизни, конечно, ничего такого не было, но в рэпе правда всегда уступает место красоте вымысла). Все ржали, обсуждая какую-то особо острую шутку про соседа-стукача, хлопали Димона по плечу, предлагали варианты развития сюжета. В воздухе повисла пауза — та самая, которую я так ждал и которой так боялся. Я шагнул в круг света от лампочки, сжимая в руке зелёную тетрадь так, что пальцы

побелели. Кирпич удивлённо поднял бровь, но промолчал — он вообще никогда не говорил лишнего. Ди-Бит смерил меня взглядом с головы до ног, задержался на тетради, хмыкнул и кивнул, мол, давай, раз вышел, всё равно уже обратной дороги нет. И я начал читать. Голос предательски дрожал, срываясь на писклявые ноты, как у петуха-подростка. Я читал про серые панельные дома, упирающиеся крышами в хмурое небо, про ржавые гаражи, похожие на старые крепости, про дворников, которые сметают с дорог наши следы, и про то, что следы эти всё равно остаются — если не на асфальте, то в памяти. Рифмы хромали на обе ноги, ритм плавал, словно пьяный, но я старался вкладывать в слова всё, что чувствовал. Всю любовь к этому месту и всю ненависть к нему одновременно. Потому что нельзя жить в панельной девятиэтажке и не мечтать однажды из неё сбежать. И нельзя мечтать о побеге и не знать, что тоска по этому подъездному эху будет преследовать тебя до самой смерти, куда бы ты ни уехал. В этом заключалась главная головоломка нашего существования, и я, двенадцатилетний пацан с разбитыми коленками, пытался уместить её в четыре корявых строфы. Теперь-то я понимаю, что это было невозможно, что для этого потребовалась бы целая жизнь, но тогда я был слишком юн и глуп, чтобы осознать масштаб задачи.

Когда я закончил, в подвале стало очень тихо. Так тихо, что слышно было, как наверху хлопнула дверь чьей-то квартиры, как залаяла собака, как загудел лифт и как где-то в глубине дома закапала вода из прохудившейся трубы. Я стоял, опустил глаза, разглядывая носки своих кроссовок — они были в пыли, и пыль эта казалась мне сейчас самым интересным зрелищем в мире, — готовый провалиться сквозь этот бетонный пол, лишь бы не видеть насмешливых ухмылок. Первым заговорил Димон. Я ожидал чего угодно: что он поднимет меня на смех, назовёт малолеткой, скажет выучить уроки, скажет, что мой текст — это детский лепет, который стыдно слушать. Но он просто спросил — спокойно, без всякого сарказма: «Где ты слышал про асфальт, который рифмуется с небом?». Я честно признался, что нигде не слышал, сам придумал. Димон переглянулся с Кирпичом — они обменялись какими-то непонятными мне тогда фразами на своём, «стариковском» жаргоне, который я ещё не успел выучить, хотя старательно запоминал каждое незнакомое слово. А потом Кирпич улыбнулся — он вообще редко улыбался, и когда это случалось, его лицо, обычно хмурое и сосредоточенное, преображалось, становилось почти красивым, — хлопнул меня по плечу своей тяжёлой ладонью и сказал то, что я запомнил на всю жизнь: «Сначала — уважение к району, потом — рифмы. Ты, кажись, понял. Но ритм держи. Пяткой. Слышишь?» И я услышал. Я услышал, как мой собственный пульс начал подстраиваться под удары, которые Ди-Бит машинально выбивал носком кроссовка по бетону. И в этом совпадении ритмов — внутреннего и внешнего — было что-то такое, от чего захватывало дух. Словно я вдруг нашёл код, открывающий невидимую дверь в другой мир. В мир, где слова обретали вес, а ритм становился пульсом вселенной.

И я начал учиться держать ритм. Это стало моей главной наукой. Важнее алгебры, важнее биологии, важнее географии с её картами далёких стран, в которых я никогда не побываю. Ритм был везде: в стуке колёс поезда, проносящегося по мосту через реку, в шагах прохожих, спешащих на работу, в биении собственного сердца, когда бежишь стометровку на физкультуре, в каплях дождя, барабанивших по подоконнику, в скрипе качелей, на которых мы любили сидеть по вечерам, глядя, как солнце садится за гаражи. Нужно было только услышать его, поймать, как ловят сачком бабочку, и перенести в свои строки. Мы снова собирались в подвале, но теперь я не просто слушал, я участвовал на равных, хотя до равенства мне было ещё далеко. Мы приносили с собой кто что мог: кто-то старый бубен из детского сада, обтянутый выцветшей кожей, кто-то пустую пластиковую бутылку из-под «Буратино», которая давала звонкий, гулкий хлопок, если ударить ею по колену, кто-то крышки от кастрюль, стыбренные на кухне, пока мать не видела. Звук от крышек был самый громкий, он разлетался по подвалу, отражался

от стен и возвращался обратно, как бумеранг. Кирпич однажды притащил настоящие барабанные палочки — две деревянные палки, отполированные до блеска, — выменянные у знакомого музыканта на блок сигарет «Прима». Мы рассаживались на холодном бетоне, подстелив под себя старые газеты, чтобы не застудить почки, и Ди-Бит начинал задавать бит. Не на драм-машине, не на компьютере — тогда мы и слов-то таких не знали, и если бы нам сказали, что через двадцать лет можно будет сделать бит на телефоне, мы бы покрутили пальцем у виска. Он просто отбивал его ногой. Удивительно, как много разных ритмов можно извлечь из обычного кроссовка и бетонной плиты. Глухой удар пяткой — бас, звонкий шлепок носком — снейр, шарканье подошвой — хай-хэт. Этот бит проникал под кожу, он заставлял сердце биться в унисон. Мы, остальные, подхватывали, создавая шумовой фон: шипение сквозь зубы, скрип подошв, щелчки пальцами, хлопки ладонями по бёдрам. Иногда кто-то начинал насвистывать мелодию, и она вплеталась в общий ритм, как нитка в полотно. Этот оркестр подвального эха и был нашей первой студией звукозаписи. Записать мы ничего не могли, у нас не было микрофонов, зато было желание создавать звук, который никто больше не повторит, звук, который исчезал в тот самый момент, когда рождался, и от этого становился ещё более драгоценным. Это был звук нашего района — сырой, необработанный, как руда, из которой ещё предстоит выплавить сталь. Сейчас, спустя годы, я сижу в дорогой студии с профессиональным оборудованием, которое стоит больше, чем вся наша девятиэтажка вместе с землёй под ней, но ни один трек, записанный здесь, не вызывает у меня того священного трепета, какой вызывал тот подвальный шум, рождавшийся из ничего и уходивший в никуда.

Помимо этих музыкальных шаманств — а иначе и не назовёшь то, чем мы занимались, — была ещё одна важная традиция: читка на лавке. Когда погода позволяла, когда небо над районом не было затянуто серой, безнадёжной пеленой дождя, мы перемещались из подвала на улицу. Лавка у третьего подъезда была наша, и чужаки, зная это, на неё не садились. Это был неписанный закон, который соблюдался строже, чем правила дорожного движения. Я ни разу не видел, чтобы кто-то посторонний сел на нашу лавку — такой человек просто не мог появиться, потому что сама атмосфера вокруг неё была такова, что любой чужак чувствовал себя здесь неуютно, словно вторгся в чужой дом без приглашения. Лавка стояла под старым тополем, который каждое лето засыпал всё вокруг белым, невесомым пухом, и этот пух оседал на наших плечах, лез в глаза, мешал читать, забивался в складки одежды, но мы всё равно не уходили. Дерево было огромным, старым, его ствол был покрыт толстой, растрескавшейся корой, и мы любили водить по ней пальцами, представляя, что это карта какой-то неизвестной страны. Там, под этим тополем, на лавке с облупившейся зелёной краской, из-под которой проглядывало серое, выцветшее дерево, происходило главное судилище. Каждый новый текст нужно было прочитать перед «советом старейшин», как мы в шутку называли Ди-Бита, Кирпича и двух пацанов постарше, которых звали Макс и Серёга, по прозвищу Крюк. И вот тут оценка была строже, чем в школе на экзамене. Учителям было всё равно, что я им несу у доски, лишь бы по программе, лишь бы отбарабанил заученные фразы и сел на место. А этим парням было не всё равно. Они слушали так, как слушают музыку, которую ждали много лет. Они резали правду-матку в глаза, не стеснясь и не смягчая. «Строка кривая, слово выбивается, как гвоздь из доски», «Рифма бедная, подумай ещё, „сломалось-улыбалось“ — это для первоклашек, ты же не первоклашка», «А вот здесь про мать — сильно, до мурашек, тут ничего не трогай, оставь как есть». И ради этого «до мурашек» мы были готовы вымучивать каждую строчку, переписывая текст десятки, а то и сотни раз на тетрадных листах в клетку. От моей зелёной тетради скоро осталась только половинка, потому что я вырывал страницы с неудачными вариантами, комкал их и прятал в карман, чтобы по дороге домой выкинуть в урну. Я не хотел, чтобы кто-то видел мои неудачи, мои бесконечные, безнадёжные попытки подобрать нужное слово. Листочки я прятал подальше, боялся, что мать найдёт и поднимет на смех, или,

что хуже, начнёт расспрашивать, лезть в душу с вопросами, на которые у меня не было ответов. Мои тексты были моей тайной, моей второй жизнью, моей личной, никому не доступной территорией. В первой, дневной жизни я был обычным школьником, середнячком, который старается не высовываться, получает свои тройки и четвёрки, ходит на физкультуру, стоит в очереди в столовой. Во второй, ночной, я становился летописцем района, хранителем его боли и его гордости, его грязных секретов и его светлых, почти святых моментов. И эта вторая жизнь постепенно становилась для меня важнее первой.

В тот год я очень сильно вытянулся, перестал быть мелким и щуплым, и голос у меня начал ломаться. Вместе с голосом ломались и мои тексты — они становились острее, злее, в них появилась какая-то новая, незнакомая мне прежде жёсткость. Я начал понимать, что наш район — это не просто скопление серых коробок, это целая вселенная, замкнутый мир со своими законами, своей иерархией, своими героями и изгоями. Здесь ценилось не то, сколько у тебя денег в кармане — денег ни у кого особо не было, все жили от зарплаты до зарплаты, перезанимая пятёрку до полочки, — а то, насколько ты верен слову. Если сказал, что придёшь, — приди, хоть дождь, хоть снег, хоть конец света. Если обещал не рассказывать — молчи, даже если тебя бьют. Если видишь, что бьют своего, — впишись, даже если силы не равны, даже если знаешь, что получишь по морде. Это была простая, суровая мораль улиц, которую впитываешь не с книжками, а с разбитыми носами и сбитыми костяшками, с синяками, которые мать потом мажет йодом, качая головой и причитая: «Ну что ты за ребёнок такой?» И все эти законы находили отражение в рэпе. Мы не пели о деньгах и дорогих тачках, потому что ничего этого в глаза не видели, а если и видели, то только по телевизору, в каких-то заграничных клипах, которые казались нам сказкой о другой планете. Мы читали о том, как перелезть через забор школы, чтобы поиграть в футбол на запретном поле, о том, как пахнет сирень у трансформаторной будки в мае — одуряюще, сладко, до головокружения, — о том, как страшно возвращаться домой затемно через гаражи, где собираются тёмные личности с соседней улицы, о первой любви, которая ходит в соседний подъезд с грозным отцом-дальнобойщиком, и о том, как замирает сердце, когда она случайно встречается с тобой взглядом. Всё это была наша жизнь, настоящая, неприкрашенная, со всеми её уродствами и красотами, и мы выплёскивали её в рифмах на грязном, залитом мочой и пролитым пивом бетоне подвала. И в этом было какое-то отчаянное очищение. Словно мы брали всю грязь, всю мерзость, всю безнадёгу нашего существования, всю боль и унижение, и переплавляли их в нечто, что можно было произнести вслух, не стыдясь, а наоборот — с гордостью. Произнести и оставить здесь, в подвале, чтобы назавтра начать с чистого листа. Это был наш катарсис, наша исповедь, наша психотерапия, о существовании которой мы, конечно, ничего не знали.

Магнитофон в моём рюкзаке появился чуть позже, и это была целая эпопея, достойная отдельной главы. Это был не модный двухкассетник «Шарп» с автореверсом и эквалайзером, о котором можно было только мечтать, глядя на витрину комиссионки и чувствуя, как внутри что-то сжимается от зависти. Это был старенький, издававший виды «Электроника», который я выменял у одноклассника, Пашки Котова, на коллекцию вкладышей от жвачки «Турбо» — полный альбом, почти сто штук, собранных за два года скупки жвачек на все карманные деньги, — складной ножик с потёртой рукояткой и самодельный кастет, выточенный из куска текстолита на уроке труда. Пашка долго сомневался, мялся, но в итоге согласился, и я ушёл домой, прижимая к груди это хрупкое, капризное чудо техники. Аппарат был капризный, как избалованная кошка: он зажёвывал плёнку, если её вовремя не перемотать карандашом, он требовал, чтобы его держали строго горизонтально, иначе звук начинал плыть, он садил батарейки с такой скоростью, что приходилось всё время таскать с собой запасные. Но он работал. Он пел, хрипел, шипел, но пел. Я таскал его с собой как величайшую драгоценность. В его утробе

постоянно жила одна и та же кассета — сборник, записанный мне Кирпичом. Это была обычная советская кассета МК-60, с наклейкой, на которой от руки были выведены названия треков. Там были и американские исполнители, чьи имена мы коверкали как бог на душу положит — Run-D.M.C. превращался у нас в «Ран-дэ-мэ-цэ», а Public Enemy в «Паблик Энеми», — и первые советские эксперименты в стиле хип-хоп, записанные с радио, и, конечно, наши собственные записи из подвала. Кирпич где-то раздобыл советский микрофон «Сосна», тяжёлый, как утюг, с плетёным шнуром, который подключался к магнитофону через гнездо, вечно барахлившее и требовавшее, чтобы штекер придерживали рукой. Мы иногда, в великой тайне, делали пробные записи. Собирались поздно вечером, когда в подвале никого не было, подключали микрофон и начинали читать, стараясь не сбиваться, потому что перезаписать было нельзя — кассета не резиновая. Качество было чудовищным: сплошной шум, треск, голоса звучали так, будто мы находимся в жестяной банке, брошенной на дно океана. Но когда я в первый раз надел наушники — старые, с поролоновыми амбушюрами, которые постоянно спадали, — и услышал свой голос со стороны, у меня перехватило дыхание. Я не узнавал себя. Этот парень на плёнке звучал хрипло, зло и как-то... по-настоящему. Это был голос не школьника, не маминого сына, не пацана, который боится получить двойку, а кого-то, кто имеет право говорить от имени этих стен, кто знает то, чего не знают другие. Тогда, в наушниках, под скрежет трамвая за окном, под далёкий лай собак и гул холодильника на кухне, я понял, что никогда не брошу это дело. Что это не увлечение, не хобби, не подростковый бунт, который пройдёт, как только появятся другие заботы. Это было нечто иное. Призвание? Судьба? Проклятие? Я не знал таких слов. Я просто чувствовал, что если перестану писать и читать, то перестану существовать. Растворюсь в серости панельных стен, стану ещё одним безликим жильцом сто сорок четвёртой квартиры, который утром уходит на завод, вечером возвращается, пьёт чай с батоном и засыпает под телевизор. А микрофон, пусть даже самый дешёвый, пусть даже дающий только шум и треск, был моим якорем, который удерживал меня в реальности, не давал уплыть в никуда, в серое, безликое море обыденности.

В подъезде, под лестницей, на стене до сих пор висела старая, выцветшая афиша какого-то давно забытого концерта. Никто не помнил, кто и когда её повесил, но она висела там столько, сколько мы себя помнили, и уже стала частью пейзажа, как облупившаяся краска или трещина на потолке. Афиша была жёлтой от времени, края её обтрепались, но текст ещё можно было разобрать: какой-то ансамбль народной песни выступал в ДК Железнодорожников аж в семьдесят каком-то году. Мы превратили её в нашу доску почёта. На ней Кирпич углём рисовал наши псевдонимы, и с каждым месяцем список становился всё длиннее. Мой появился там в одно дождливое воскресенье, когда за окном лило так, что в подвале начало подтапливать. Вода просачивалась сквозь стены, текла тонкими ручейками по бетонному полу, и мы сидели на верхних ступеньках, спасаясь от потопа. Дождь барабанил по жестяному козырьку подъезда, и этот звук, ровный и монотонный, напоминал метроном. Кирпич, задумчиво вертя в руках мокрый кусок угля, от которого на пальцах оставались чёрные следы, сказал: «Хватит тебе быть безымянным. У каждого МС должно быть имя. Ты как хочешь называться?» Я замаялся. Все псевдонимы, что приходили мне в голову, казались либо глупыми, либо пафосными, либо украденными у кого-то более крутого. Я перебирал их в уме, как перебирают старые фотографии, и все они не подходили. И тут я вспомнил ту самую свою первую, корявую, но искреннюю строчку про асфальт и небо. Я хотел быть собой. Я хотел, чтобы моё имя звучало как вызов и как признание в любви этому месту, этому району, этим людям, этому грязному подвалу с его волшебным эхом. И я сказал. Сказал тихо, почти шёпотом, но Кирпич услышал. Он улыбнулся, хлопнул меня по плечу, и на пожелтевшей афише, прямо поверх чужой напечатанной фамилии, давно истлевшей в земле, появилось выведенное углём, немного неровное, но от этого ещё более живое слово. Моя новая сущность, рождённая подвальным эхом, воспитанная дво-

ровыми корифеями и пропитанная запахом пыли на кроссовках. С этого дня всё должно было измениться, хотя снаружи всё оставалось по-прежнему: те же серые дома, тот же грохот трамваев и бесконечное, суровое, но такое родное небо над головой. Но внутри меня уже запустился необратимый процесс, как цепная реакция, как сход снежной лавины с горы. Это был даже не старт с района. Это было рождение из его бетонного чрева. Рождение, после которого ты уже не можешь быть прежним, даже если очень захочешь. Я стоял на лестнице, вдыхал влажный, пропитанный дождём воздух, пахнувший озоном и мокрым бетоном, смотрел на афишу, где чернело моё новое имя, и чувствовал, как внутри меня что-то необратимо сдвигается, как приходят в движение огромные, невидимые глазу тектонические плиты моей судьбы. Где-то там, за пеленой дождя, за серыми коробками домов, за линией горизонта, начиналась новая жизнь. Жизнь, в которой этому имени предстояло прозвучать и я был готов к этому, по крайней мере мне так казалось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.